

Содержание

| | |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Литературный гедонизм</i> | 7 |
| 1. НАЧАЛО | 15 |
| 2. ШКАЛА ЯЗЫКА | 23 |
| 3. КНИГИ МЕРТВЫХ | 32 |
| 4. ПИШЕТСЯ КАК СЛЫШИТСЯ | 41 |
| 5. ТЯЖБА | 49 |
| 6. МЕСТО И ВРЕМЯ | 58 |
| 7. БЛУДЕНЬ. ТРУДНЫЕ КНИГИ | 67 |
| 8. ЛЕТНЕЕ ЧТИВО | 75 |
| 9. ГОВОРЯ О БОГЕ | 83 |
| 10. КАРАНДАШУ | 92 |
| 11. КАК И СЛОВНО | 100 |
| 12. ФЛОГИСТОН | 108 |
| 13. АРХЕОЛОГИЯ СМЕХА | 116 |
| 14. ПУТЕВОЕ | 124 |
| 15. ДУХ НА КОНЕ | 132 |
| 16. КОГДА БОГ С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ | 141 |
| 17. SVOE, NO CHUZHNOE | 149 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 18. ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ | 157 |
| 19. КОНТАКТ | 166 |
| 20. ПЕРИПАТЕТИК | 175 |
| 21. ЖИВОЙ ТРУП | 184 |
| 22. ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ | 193 |
| 23. ФАКТ | 202 |
| 24. 2012 | 211 |
| 25. ДИССИДЕНТ | 220 |
| 26. СТАР И МЛАД | 228 |
| 27. ДНК | 237 |
| 28. АМАРКОРД | 246 |
| 29. СВОИМИ СЛОВАМИ | 254 |
| 30. КАСТАЛИЯ | 264 |
| 31. ШИББОЛЕТ | 273 |
| 32. ПРОСТО ПРОЗА | 282 |
| 33. КАТАЙ | 290 |
| 34. КРЕСТИНЫ | 298 |
| 35. КОНЕЦ | 306 |
| | |
| <i>Благодарности</i> | 315 |

Литературный гедонизм

Школа, где я учился, была не хуже других. Про ту, где учил, такого не скажешь. Дети ссыльных из рабочего поселка составляли смешанный класс, но я не интересовал ни русских, ни латышей. Лев Толстой их занимал еще меньше. Правда, за последней партией сидела умная, толстая и некрасивая девушка. На переменах она читала Карамзина, и ей я был тоже не нужен.

Жизнь моя казалась чудовищной. По ночам я готовился к изошренным урокам, которые по утрам срывали мои ученики. После обеда (и вместо него) я отчитывался директору за поставленные двойки. В учительскую я боялся заходить из-за учителей в галлифе, в уборную — из-за куривших школьников. Меня спас урожай. Всех отправили на картошку, и вместо одуряющих уроков я старательно копался в сырых грядках, не поспевая за учениками. Пока я набирал мешок колхозу, они ссыпали два себе. Глядя на их спорую работу, я остро почувствовал собственную бесполезность. Посреди бесцветного кар-

тофельного поля жидким балтийским деньком меня одолела еретическая мысль о бессмысленности школы. Ни той, ни этой, ни всякой другой — в любой стране, но на этой планете.

Наверное, я был плохим учеником, но я всегда любил учиться — лишь бы не в школе. Наверное, мне попались плохие, как и я, учителя. Наверное, бывают замечательные школы, но ведь и там учат черт-те чему. Господи, какой чуши я наслушался в своей десятилетке. Ну кто в здравом уме хочет знать, чему равен синус альфы? какова валентность водорода? как нам реорганизовать “рабкрин”?

Состав образования всегда отстает от прогресса и никогда не бывает актуальным. В XVIII веке школа учила про газ флогистон, в XX-м — квадратному уравнению. Ни того, ни другого мне так и не пришлось встретить на двух континентах, где я жил, и в пятидесяти странах, где я бывал. В утешение говорят, что любая учеба — от астрологии до истории КПСС — развивает мышцы мозга, хотя я и не уверен, что они у него есть.

Единственными осмысленными уроками были те, которые я всегда прогуливал, — пение, труд и физкультура. Первое могло научить меня наслаждению музыкой, которого я был напроочь лишен до сорока лет. Второй нужен каждому, чтобы испытать физиологическое удовольствие от массажа рук о работу. Физическая же культура служит прообразом любой другой. По-настоящему мы знаем то, что умеем. Только целостное — а не головное — знание преобразует человека радикально и навсегда: нельзя разучиться плавать. Но как раз всему первостепенному, дающему навык

и приносящему радость, мы учились вне школы, а часто и вопреки ей.

В моем детстве лучшим примером служил футбол. Никто никогда не объяснял нам правил, но каждый мальчик страны владел ими не хуже судьи, в котором мы не нуждались. С другой стороны, за полвека в Америке я так и не научился бейсболу, забывая правила игры раньше, чем мне заканчивали ее объяснять. И всё потому, что футбол входил в меня сам — ненасильственное, органическое знание, содержащее награду в самом себе. Сегодня таким “футболом” служат компьютеры, обращению с которыми дети учатся шутя, а мы плача. В англоязычной “Википедии” — миллионы статей, и большую часть написали школьники. Школа тут ни при чем. Она всегда отстаёт и давит, как будто у нее нет другого выхода.

Может, и нет. Я не настаиваю на своей педагогической гносеологии. Возможно, в той параллельной вселенной, где бог — завуч, кому-то нужны логарифмические таблицы Брадиса. И кто я такой, чтобы отнимать их у школьника? Меня, в конце концов, волнует только один предмет — мой, и он называется литературой.

Литература считалась главной — наряду с математикой. И ту и другую мы учили каждый день по одинаковой методике. Каждое художественное произведение тоже считалось задачей, решение которой содержалось в разделе “Ответы” и называлось “идеей”. Одну такую я решал на вступительном сочинении: “Народ у Некрасова и Маяковского”. Найти то, что объединяет три части этого уравнения, — увлекатель-

ная задача, с которой сегодня мне уже не справиться. Школьная, идущая от Платона и Гегеля, ученость искала растворенный в тексте тезис, очищенный от сюжетных частностей. Это и была идея, ради которой автор писал книгу, а мы ее читали. Уроки литературы заключались в дистилляции таких “идей”. Поскольку набор их был небольшим и стандартным, школа шла от обратного, находя в книге заранее известное.

Сведенная к идеям литература пуста и бесплодна, как горная цепь. Чтобы оживить ее, популярные учителя меняли средневековую схоластику на античную риторику, подменяя литературу “человековедением”. Классика поставляла учебные модели поведения, которые нам было положено оценить и освоить. Восьмиклассники решали, следовало ли Татьяне уступить домогательствам Онегина. Восьмиклассники — почему Печорин не хотел служить отечеству. Я не знаю ответов на эти вопросы, но это не смущало школу и развлекало школьников.

Лучшие учителя, избегая ригоризма идейных вершин и сплетен житейского болота, шли средним путем. Они заменяли литературу историей литературы. На этом поприще школа достигла самого большого и наиболее долговечного успеха: она создала канон. От “Повести временных лет” сквозь “Князя Игоря”, Фонвизина и Карамзина он тянется к Пушкину, обнимает золотой XIX век и завершается бесспорным Чеховым. Канон — базис национальной культуры: он — производит русских. В древнем разноплеменном Китае китайцами считали всех, кто знал иероглифы. Наши иероглифы — это классики, Толстой и Пушкин.

Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, потому что воспринимаем канон как непрременную, естественную, почти физическую данность. Я не могу себе представить родившегося в СССР человека, который не знал бы Пушкина. На нем стояла страна даже тогда, когда исчезло прежнее название и изменились старые границы.

Так, однако, бывает далеко не всегда и не всюду. В Америке, скажем, нет и не было своего Пушкина. Как и нет списка обязательных, да и любых других классиков. Конечно, и американская школа учит “Ворона”, занимается “Геком Финном”, упоминает “Моби Дика”, читает “Над пропастью во ржи” и проходит “Убить пересмешника”. Но американские писатели не составляют частотола, ограждающего национальную идентичность. Канон в Америке — привозной, и уже поэтому эклектичный и произвольный. Одни включают в него Платона, другие — “Робинзона Крузо”, большинство — Шекспира, но никто уже не считает канон непобедимым и вечным. Отчасти то место, которое у нас занимает родная литература, в Америке отведено Библии. К этому, впрочем, не имеет отношения американская школа, разумно охраняющая свою непреклонную светскость.

Жизнь без канона — новый опыт. Многие считают его трагичным, ибо роль отобранных веками классиков играет мимолетная поп-культура. Когда я приехал в Америку, мне трудно было разговаривать с окружающими, потому что у нас не было общего языка — контекста. Если русское поле цитат составляли книги, то американское — фильмы, песни, сериалы, звезды. Сегодня, однако, это — универсаль-

ный набор, и русскому школьнику легче найти общий язык с американским сверстником, чем со своими родителями.

Распад авторитарного по своей природе канона — мировое явление, связанное с общей демократизацией культуры. До отечественной школы он добрался вместе с падением прежней власти. Первой развалилась литература XX века. Все, что попало в канон после Горького и под давлением, вылетело из него первым. За опустевшее от “Поднятой целины” место школа сражалась с азартом недавно обретенной свободы. В программу включали то Платонова, то Ахматову, то “Трех мушкетеров”. В таком списке нет ничего плохого, но это — не канон, а хорошая компания. Произвол пресекает традицию. А без нее школьная литература подменяет библиотекаря: она предлагает книги вместо того, чтобы научить их читать.

Сомнительность уроков литературы станет заметней, если сравнить их с другими. Представьте, что нас заставляют учить не таблицу умножения, а *историю* таблицы умножения. Вместо принципов деления и сложения — примеры деления и сложения. Вместо методов анализа — набор результатов. Вместо игры на пианино — эволюцию инструмента. Получается, что такого предмета, как “литература”, нет и быть не может. Ведь школа должна научить не тому, что читать, а тому — как. Особенно — сегодня, когда XXI век предложил книге столь соблазнительный набор альтернатив, что чтение может выродиться в аристократическое хобби вроде верховой езды или балльных танцев. Чтобы сохранить чтение, надо вернуться к “арифметике чтения”. Только навык уме-

лого чтения позволяет решить всякую задачу и влюбиться в подходящую, а не навязанную программой книгу. Чтению учат, как всему остальному: осваивая азбуку, исследуя связи, понимая цели и оценивая средства, но главное — ставя себя на место автора. Чтобы стать хорошим читателем, надо быть писателем, или — хотя бы — побыть с ним.

Медленно и упрямо ты идешь вплотную за автором, чтобы, переняв его опыт и обострив свою интуицию, настигнуть его. В тот счастливый момент, когда ты, научившись сливаться с текстом, догадываешься, что будет в следующем абзаце, сдан первый экзамен.

Теперь, освоив трудные азы медленного чтения, можно развернуть книги веером, чтобы понять устройство каждой. Мудрость в том, чтобы находить отличия. Нельзя судить о вине по градусам, и разные книги нужно уметь читать по-разному. Поэтому уроки чтения отвечают на множество необходимых вопросов. Как читать про любовь и как — про Бога? Как справиться с трудными книгами и как — с простыми? Как узнать на странице автора и почему этого не следует делать? Как нащупать нерв книги и как отличить его от сюжета? Как войти в книгу и как с ней покончить? Как овладеть языком и как обходиться без него? Как пристраститься к автору и как отказать ему от дома? Как влюбиться в писателя и как изменить ему? Как жить с библиотекой и как, наконец, вырваться из нее?

В сущности, все великие учителя литературы, такие как Борхес и Набоков, предлагали нам уроки чтения. Например, Бродский, проведя значительную и далеко не худшую часть жизни за университетской кафедрой, никого не учил писать стихи, лишь читать

их, но так, чтобы каждый чувствовал себя поэтом. По Бродскому каждая строка требует от нас того же выбора, что и от автора. Оценив и отбросив другие возможности, мы понимаем бесповоротную необходимость именно того решения, которое принял поэт. Пройдя с ним часть пути, мы побывали там, где был он. Такое чтение меняет ум, зрение, речь и лицо. Но это далеко не самое важное.

Читательское мастерство шлифуется всю жизнь, никогда не достигая предела, ибо у него нет цели, кроме чистого наслаждения. Чтение есть частное, портативное, общедоступное, каждодневное счастье — для всех и даром.

Будь я школой, первым предметом в ней бы был читательский гедонизм.

1. НАЧАЛО

Раньше, когда книга была вещью, прологом к знакомству служило осязание. Книгу оценивали на ощупь, взвешивая на ладони, перелистывая страницы, глядя переплет. Мало того, я книгу еще и нюхал.

Теперь книги не пахнут. Их, собственно, вообще нет, во всяком случае, тех, что живут в эфире, возникают на экране и исчезают неизвестно куда. Вывернувшийся из переплета текст предлагает демократическую альтернативу авторской воле. Бунтуя против навязанного книгой способа чтения — с первой до последней страницы, читатель сражается — и побеждает — писателя.

Лучше всех книги, которые можно читать с любого места, — пишет Милорад Павич. Собственно, любой, не только хазарский, словарь — литература без конца и начала. В этом кроется соблазн энциклопедии, которая, как казино, искушает нас азартом случайности. Поддавшись ему, Павич для своей нелинейной словесности открыл целую фабрику. Запустив в ее здание читателя, он предлагает нам самим

выбирать маршрут, осматривая помещения в любом порядке.

Я видел такой дом (старый, многоэтажный, доходный), ставший спектаклем Анатолия Васильева. В каждой комнате группа актеров разыгрывала свою главу из “Бесов”, а публика, заглядывая в открытые двери, бродила по коридорам в произвольном порядке и темпе. От этого роман размножился на отдельные версии по числу зрителей, бредущих внутри книги.

Многие (и я в том числе) говорили, что пост-модернистская революция освобождает читателя от навязчивости автора. Раньше, однако, это насилие никого не смущало. Поэтому найти смысл и наслаждение в прежнем порядке вещей можно только тогда, когда мы открываем книгу не с любой, а с первой страницы.

Начало книги напоминает шахматный дебют. Их набор весьма ограничен, последствия — исследованы, эксцентричность — наказуема. Опытный читатель сразу насторожится, если автор безумно откроет партию ладеной пешкой. С другой стороны, стандартный ход — E2-E4 — не значит ничего, потому что может привести к любым, включая фантастические, последствиям.

Дебют вовсе не обязан раскрывать тайные замыслы. Он говорит не столько о содержании книги, сколько о темпераменте автора. Иногда это определяющая тональность, иногда — обманный ход, усыпляющий бдительность, иногда — вызов (традиции или терпению), и всегда — подсказка читателю, который обя-